
На лице твоём убитом
проступает, именит,
до поры от света скрытый
всесоюзный инвалид.

Жаль, глаза его запали,
рот открыт, но ни гу-гу,
сам предвидел ты едва ли
столь счастливую судьбу.

После жизни, после жизни
те, кто в бой послал тебя,
сидут на гражданской тризне
под немолчный шум дождя.

И когда, припомнив имя,
пьяный ротный засопит,
ты воссядешь между ними,
тёмным саваном прикрыт.

Был ты длинный, был короткий,
был из плоти и кирзы,
стал ты рябь в стакане водки
после капнувшей слезы.

Тенью, вызванной из праха,
среди тех, чья жизнь – беда,
ты возвысился до знака
неизвестного солда...

Та история случайна,
это всё приснилось мне:
дом пустой и день печальный,
дождь и тень твоя в окне.

В лёгкой курточке осенней,
совершенно одинок,
и без дома, и без денег
к остановке вышел Бог.

Сел на мёрзлую скамью,
ясными повел очами,
выдохнул печаль свою,
словно и не знал печали.

А к утру окостенел,
снежною оделся ризой,
муку смертную стерпел
за смотрящих телевизор.

Выдохни печаль свою,
это просто сказка, это
так, быличка к декабрю,
мерой солнечного света,

злата, серебра, пшена
жизнь, Христом озарена,
наградит тебя за веру –
ты не плачь, не надо слёз.

Медленно с дерюжки серой
поднимается Христос,
весь дрожа, идёт из морга
в куртке «Мадэ ин Китай».

Видел ты живого Бога?
Ну, смотри, запоминай.

Ещё там мальва красная цвела
сухими и горячими цветами,
и девочка красивая жила
с огромными лучистыми глазами.

И я ходил, вздыхая, под окно
светить осколком зеркала в квартиру,
но девочке той было всё равно,
как остальному сказочному миру.

Потом дорога пыльная была,
потом сады и огурцы на рамах,
потом был снова Киев, сосны, мгла,
потом отъезд, и заболела мама.

Я жизнь свою, как сон, пересмотрю
и некий смысл в ней угадаю снова,
скажу тебе ещё раз, что люблю,
и оттолкнусь от берега родного,

и в лодку с человеческим товаром
сойду и лягу на сырое дно.
А девочку ту звали Оля Хмара.
Зачем я это помню? Всё равно.

Огромной в веснушках ладонью,
прогнав от лица комарёй,
паромщик на старом пароме
укажет, где место твоё.

Закурит кривую цигарку,
и, глядя на реку, вздохнёт,
и даст тебе хлеба буханку,
и платы с тебя не возьмёт.

И будет тот хлебушек сделан
из сладкой, как сахар, муки,
и будут то справа, то слева
мерцать на реке огоньки.

И рыбы, и птицы, и звёзды,
и в сумерках летних сады –
всё будет простым и серьёзным,
живым и бессмертным, как ты.

Мне лес казался чёрною дырой,
под треск в печи я начинал второй
пузырь и хоронил своё веселье,
и медленно писал тебе письмо,
в котором всё щутить пытался, но
в меня уже вползла змея похмелья,
и тяжесть, и сердечная тоска.
Клубы и нити снежного песка
на лес летели. Я смотрел на лес.
Вдруг силуэт поднялся и исчез,
и снова промелькнул за снегопадом,
и канул за деревья в полутьму.
«Какого чёрта ему в роще надо?» –
подумал я и подошёл к окну.
Медведь огромный с головой косматой
на костыле шагал сквозь бурелом,
с неуставным подшитым рюкзаком
он был похож на старого солдата.
Мой острый взгляд почувствовав спиной,
он вдруг остановился, оглянулся,
и мне махнул тяжёлою рукой,
и закурил, и улыбнулся.
«Пишу тебе сказать, что я живой,

скучаю и люблю тебя, как прежде,
медведя встретил с третьей мировой,
поговорили о любви и смерти.
Поговорили с ним за нашу жизнь,
о мёртвых и о выживших немногих,
и дружно под конец на том сошлись,
что лучше жить, хотя бы и безногим.
И он пошел к себе сквозь бурелом,
а я к соседу, чтобы ехать в город,
а снег кружил и падал день за днём,
кружил и падал мне за ворот».

С тех пор три дня прошло, как Осоргин
переселился в новую квартиру:
прозрачные полы и потолки
и нет ни стен, ни ванны, ни сортира.
Он к ящику почтовому сошёл,
достал из щели свежую газету
и как-то легкомысленно прочёл
статью о том, что отменили лето.
В подвале на четвёртой полосе
он странное увидел объявление,
что очень соболезновали все
родным и близким старшего по смене
электриков Осоргина Д. Б.
«Так это – я?» – он вздрогнул, и скривился
от жалости мучительной к себе,
и на ступеньки тяжко опустился.
Он понял, что соседние дома,
в которых свет горит, не существуют,
нет новостройки этой, лишь зима,
пустыня и такие ветродуи,
что просто с ног сбивает. Но зато
не надо через день ходить за хлебом,
старик в домашних тапках и пальто
сидел под радикально чёрным небом,
и умершие жители Москвы,
сто тысяч лет прожившие в хрущобах,
не поднимая буйной головы,
с одной великой целью в жизни, чтобы
джакузи, и стиралка-автомат,
и дивный вид из окон открывался, –
пред ним всё шли, как будто бы парад,
и Судный день никак не начинался.